



А. ЛЕВИНСОН

Гумилев

Когда, несколько месяцев тому назад, был замучен и убит Н. С. Гумилев, я не нашел в себе сил рассказать о поэте: негодование и скорбь, чудовищность преступления заслонили на время образ его в интимной простоте и трудовой его обыденности. Впрочем, пафос и торжественность поэтического делания не покидали его и в быту каждодневном. Он не шагал, а выступал истово, с надменной и медлительной важностью; он не беседовал, а вещал наставительно, ровно, без трепета сомнения в голосе. Мерой вещей была для него поэзия; вселенная — материалом для создания образов. Музыка сфер — прообразом стихотворной ритмики. Свое знание о поэзии он считал точным, окончательным; он охотно искал твердых и повелительных формул, любил окружать себя учениками, подмастерьями поэтического цеха, и обучать их догме стихотворного искусства. В последние годы жизни он был чрезвычайно окружен, молодежь тянулась к нему со всех сторон, с восхищением подчиняясь деспотизму молодого мастера, владеющего философским камнем поэзии. В «Красном Петрограде» стал он наставником целого поколения: университет и пролеткульт равно слали ему прозелитов. Однако не отшлифованные с педантизмом схемы Гумилева, не рецепты творчества, им преподаваемые, завоевали ему подобную власть над умами. В нем чувствовалось всегда ровное напряжение большой воли, создающей красоту, а сквозь маску педанта с коническим черепом виден был юношеский пыл души, цельной без щербинки и, во многом, ребячески-простой. У этого профессора поэзии была душа мальчика, бегущего в мексиканские пампасы, начитавшись Густава Эмара¹. Поэт-скиталец, поэт-паломник и явился к нам издалека; на обложке первой его книжки, — если не считать предварительного, так сказать, поэтического опыта: «Пути конквистадоров», — обозначен как место издания Париж². Я был, по-

мнится первым из русских критиков, с волнением откликнувшихся на эти его «Романтические цветы», потому что был озадачен и привлечен «необщим выражением» маленького сборника³. Насквозь эклектичная книга, где на малом пространстве нескольких десятков страниц сгрудилась античность и экзотика, римские галеры и каравеллы Кортеза, сновало многоголосое и разноцветное, как в Левантинском порту, население образов, где русский ямб то уподоблялся патетическому и взбудораженному александрийцу Виктора Гюго, то кованому, насыщенному, как афоризм, стиху Эредиа, то легкой и крепкой восьмисложной строке Теофиля Готье. Гумилев показался мне тогда «французским поэтом на русском языке», царскосел-парижанином, но уже в самом характере воспринятых им воздействий заключалась немалая новизна. Поколение наших символистов черпало импульсы из творчества «проклятых поэтов», из демонической риторики Бодлера, тайнописи Маллармэ, текучего, аморфного, музыкального лиризма Поля Верлена, грандиозного бреда Верхарна. Юный Гумилев по внутренней необходимости обратился к тем поэтам, для которых «видимый мир существует». Тогдашний его «круг чтения» переопределяет поэтическую доктрину, вокруг которой он сгруппирует впоследствии важную часть молодых стихотворцев наших. Так подготавливается петербургская пора его деятельности, отмеченная сборниками «Чужое небо», «Жемчуга», переводом «Эмалей и Камей» Теофиля Готье и критической работой в «Аполлоне».

...И не меньше, чем из примера таких писателей, как Теофиль Готье или Рабле, из ночных размышлений в палатке где-либо на плоскогорье Харрара возникла поэтическая доктрина *акмеизма*, объединившая вокруг Гумилева сонм молодых поэтов: О. Мандельштама, Георгия Иванова, М. Зенкевича⁴, других еще.

Чем же был этот загадочный акмеизм, что притянул упразднить и сменить русский символизм, его идеологию, его методы иносказания? Приятием и утверждением зримого и осязаемого мира, культом углубленной и усиленной конкретности, славословием вещи и ее имени: слова. Омолодить мир, увидеть его словно впервые в перевозданном его облике, такова надежда. Самая же поэзия представлялась Гумилеву и его кругу не как плод прихотливых вдохновений, а как стихотворное ремесло, имеющее свои законы и приемы, свой материал: слово в его значении и его звучании, образности и ритме; недаром группа его, в которой участвовал тогда и ветреный, взбалмошный Сергей Городецкий, объединилась в цех, где вокруг мастеров сплотились ученики. Журнал и издательство «Гиперборей» явились органами нового

поэтического упования; так возник первый исключительно стихотворный журнал

Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева бесценный перевод «Эмалей и Камей», поистине чудо перевоплощения в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при какой коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью и совершенством фактуры, выработанностью ремесла; тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иноязычным стихотворцем.

Наступила война, а с ней для Гумилева военная страда. Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности.

Гумилев ушел на фронт гусаром, участвовал в трагическом походе в восточную Пруссию, был ранен, заслужил двух Георгиев, позже был направлен во Францию; позже состоял здесь ординарцем при Комиссаре Временного Правительства; я встретился с ним вновь в России уже на исходе 1918 года.

Как раньше в африканской пустыне, наконец, при винтовке, Гумилев двигался по широким просторам навстречу неизвестности, навстречу опасности. Его переживание войны было легким, восторженным; подвиг был радостным. Сборник «Колчан», памятка об этой поре, свидетельствует об этом состоянии его души, просветленном и экзальтированном.

«Дитя Аллаха» — лучшее из осуществленного Гумилевым в драматическом роде. Этому цельному человеку не давалось искусство масок; он не мог расчлнить и воплотить во множестве фигур борец своей души, ясной и невинной. Так, его ненапечатанная еще, кажется, «Окровавленная туника», задуманная в духе Расиновых «правильных» трагедий⁵, лишь цикл лирических отступлений и вялых диалогов. Его опыты как драматурга — заблуждение о самом себе, превышение данной ему власти.

В 18-м году мы встретились в издательстве «Всемирная литература»; на два с лишком года объединил нас общий труд, безнадежный и парадоксальный труд насаждения духовной культу-

ры Запада на развалинах русской жизни. Кто испытал «культурную» работу в Совдепии, знает всю горечь бесполезных усилий, всю обреченность борьбы с звериной враждою хозяев жизни, но все же этой великодушной иллюзией мы жили в эти годы, уповая, что Байрон и Флобер, проникающие в массы хотя бы во славу большевистского «блефа», плодотворно потрясут не одну душу. Я смог оценить тогда обширность знаний Гумилева в области европейской поэзии, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особо его педагогический дар. «Студия Всемирной литературы» была его главной кафедрой; здесь отчеканивал он правила своей поэтики, которым охотно придавал форму «заповедей», столь был уверен в непререкаемости основ, им провозглашенных. Мы знаем поэтов-мистиков, озаряемых молниями интуиции, послушных голосам в ночи. Таков был Блок. И как представить Блока преподавателем? Гумилев был по природе церковником, ортодоксом поэзии, как был он и христианином православным. Не мистический опыт, а откровение поэзии в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симметрии чисел, мере; помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедию метафор, где мифы всех племен соседствовали с исторической легендой; так вот, сакраментальным числом, ключом, было число 12: 12 апостолов, 12 палладинов и т. д.

В общественном нашем быту, ограниченном заседаниями редакции, он с чрезвычайной резкостью и бесстрашием отстаивал достоинство писателя. Мечтал даже во имя поправленных наших прерогатив и неотъемлемых прав духа апеллировать ко всем писателям Запада; он ждал оттуда спасения и защиты.

О политике он почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое аполитическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, названия которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот «железный человек», как называли мы его в шутку, переносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдо-пролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя.

В последний год он написал обширную космогоническую поэму «Дракон», законченную уже не при мне. После отъезда моего Гумилев недолго пробыл в Петрограде; им овладело беспокойст-

во, он уезжал на юг, был арестован «за преступление по должности» (поэт!) и в минувшее лето расстрелян заодно с шестьюдесятью жертвами. Так закончил жизнь стойкий человек, видевший в поэзии устремление к «величию совершенной жизни». Удивляться ли тому, что его убил? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения.

У нас, за границей, нет почти книг Гумилева. Собрание его сочинений, хотя бы избранных, мне кажется необходимым, налицо лишь недавно вышедший в Риге сборник «Шатер»⁶, это — часть задуманной Гумилевым «поэтической географии», развернутой на любимой странице: стихотворной карте Африки. Прочитав эту единственную доступную здесь книгу Гумилева, отдайте ее детям. Это — лучшее, что я могу сказать о ней; если же немногие и общие черты жизни поэта, здесь изложенные мною, приобретут ему нескольких новых, посмертных друзей и оживят в памяти тех, кто знал его, образ человека, которого нельзя забывать, — цель этой слишком краткой памятки достигнута.

